



Уван. Турчнев

ВЕЩНИЕ ВОДЫ

Иван Тургенев

**Вешние воды (С
иллюстрациями)**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Тургенев И.

Вешние воды (С иллюстрациями) / И. Тургенев —
«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»,

Проза Ивана Тургенева, пожалуй, самая изящная. Самая живописная в русской классической литературе. Пейзажи писателя красочны, точны и подробны, пронизаны щемящей сердце меланхолической поэзией. Так же детально и живо выписаны тургеневские характеры.

Русский аристократ Дмитрий Санин знакомится в Германии с молодой девушкой Джеммой. У нее есть жених, но ради вспыхнувших чувств к Дмитрию она уходит от него. Пара собирается пожениться. Ради материального благополучия будущей семьи Санин решает продать свои земли в России и переехать в Германию. Их хочет приобрести Мария, жена его школьного приятеля. Но пока не до сделки — закручивается новый любовный роман. А что же Джемма? Иллюстрации Наталии Борисовой.

© Тургенев И.
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

I	7
II	8
III	11
IV	14
V	15
VI	16
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Иван Сергеевич Тургенев

Вешние воды

*Веселые годы,
Счастливые дни —
Как вешние воды
Промчались они!*

Из старинного романа

Часу во втором ночи он вернулся в свой кабинет. Он выслал слугу, зажегшего свечки, и, бросившись в кресло около камина, закрыл лицо обеими руками. Никогда еще он не чувствовал такой усталости — телесной и душевной. Целый вечер он провел с приятными дамами, с образованными мужчинами; некоторые из дам были красивы, почти все мужчины отличались умом и талантами — сам он беседовал весьма успешно и даже блистательно... и, со всем тем, никогда еще то «*taedium vitae*», о котором говорили уже римляне, то «отвращение к жизни» — с такой неотразимой силой не овладевало им, не душило его. Будь он несколько помоложе — он заплакал бы от тоски, от скуки, от раздражения: горечь едкая и жгучая, как горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то неотвязчиво-постылое, противно-тяжкое со всех сторон обступило его, как осенняя, томная ночь; и он не знал, как отделаться от этой темноты, от этой горечи. На сон нечего было рассчитывать: он знал, что он не заснет.

Он принялся размышлять... медленно, вяло и злобно.

Он размышлял о суете, ненужности, о пошлой фальши всего человеческого. Все возрасты постепенно проходили перед его мысленным взором (ему самому недавно минул 52-й год) — и ни один не находил пощады перед ним. Везде все то же вечное переливание из пустого в порожнее, то же толчение воды, то же наполовину добросовестное, наполовину сознательное самообольщение, — чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало, а там вдруг, уж точно как снег на голову, нагрянет старость — и вместе с нею тот постоянно возрастающий, все разъедающий и подтачивающий страх смерти... и бух в бездну! Хорошо еще, если так разыграется жизнь! А то, пожалуй, перед концом пойдут, как ржа по железу, немощи, страдания... Не бурными волнами покрытым, как описывают поэты, представлялось ему жизненное море — нет; он воображал себе это море невозмутимо гладким, неподвижным и прозрачным до самого темного дна; сам он сидит в маленькой, валкой лодке — а там, на этом темном, илистом дне, наподобие громадных рыб, едва виднеются безобразные чудища: все житейские недуга, болезни, горести, безумие, бедность, слепота... Он смотрит — и вот одно из чудищ выделяется из мрака, поднимается выше и выше, становится все явственнее, все отвратительно явственнее. Еще минута — и перевернется подпертая им лодка! Но вот оно опять как будто тускнеет, оно удаляется, опускается на дно — и лежит оно там, чуть-чуть шевеля плесом... Но день урочный придет — и перевернет оно лодку.

Он тряхнул головою, вскочил с кресла, раза два прошелся по комнате, присел к письменному столу и, выдвигая один ящик за другим, стал рыться в своих бумагах, в старых, большею частью женских, письмах. Он сам не знал, для чего он это делал, он ничего не искал — он просто хотел каким-нибудь внешним занятием отделаться от мыслей, его томивших. Развернув наудачу несколько писем (в одном из них оказался засохший цветок, перевязанный полинявшей ленточкой), — он только плечами пожал и, глянув на камин, отбросил их в сторону, вероятно, собираясь сжечь весь этот ненужный хлам. Торопливо засовывая руки то в один, то в другой ящик, он вдруг широко раскрыл глаза и, медленно вытащив наружу

небольшую осьмиугольную коробку старинного покроя, медленно приподнял ее крышку. В коробке, под двойным слоем пожелтевшей хлопчатой бумаги, находился маленький гранатовый крестик.

Несколько мгновений с недоумением рассматривал он этот крестик – и вдруг слабо вскрикнул... Не то сожаление, не то радость изобразили его черты. Подобное выражение являет лицо человека, когда ему приходится внезапно встретиться с другим человеком, которого он давно потерял из виду, которого нежно любил когда-то и который неожиданно возникает теперь перед его взором, все тот же – и весь измененный годами. Он встал и, возвращаясь к камину, сел опять в кресло – и опять закрыл руками лицо... «Почему сегодня? именно сегодня?» – думалось ему, и вспомнил он многое, давно прошедшее...

Вот что вспомнил он...

Но нужно сперва сказать его имя, отчество и фамилию. Его звали Саниным, Дмитрием Павловичем.

Вот что он вспомнил:

I

Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось несколько тысяч рублей – и он решился прожить их за границею, перед поступлением на службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого обеспеченное существование стало для него невыносимым. Санин в точности исполнил свое намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 году железных дорог существовала самая малость; господа туристы разъезжали в дилижансах. Санин взял место в «бейваген»; но дилижанс отходил только в 11-м часу вечера. Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная и Санин, пообедав в знаменитой тогдашней гостинице «Белого лебедя», отправился бродить по городу. Зашел посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из сочинений которого он, впрочем, прочел одного «Вертера» – и то во французском переводе; погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из немногочисленных ее домов он увидел вывеску: «Итальянская кондитерская Джиованни Розелли» заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, – в этой комнате не было ни души; только серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, возвысив голос: «Никого здесь нет?» В то же мгновение дверь из соседней комнаты растворилась – и Санину поневоле пришлось изумиться.

II

В кондитерскую, с рассыпанными по обнаженным плечам темными кудрями, с протянутыми вперед обнаженными руками, порывисто вбежала девушка лет девятнадцати и, увидев Санина, тотчас бросилась к нему, схватила его за руку и повлекла за собою, приговаривая задыхавшимся голосом: «Скорей, скорей, сюда, спасите!» Не из нежелания повиноваться, а просто от избытка изумления Санин не тотчас последовал за девушкой – и как бы уперся на месте: он в жизни не видывал подобной красавицы. Она обернулась к нему и с таким отчаянием в голосе, во взгляде, в движении сжатой руки, судорожно поднесенной к бледной щеке, произнесла: «Да идите же, идите!» – что он тотчас ринулся за нею в раскрытую дверь.

В комнате, куда он вбежал вслед за девушкой, на старомодном диване из конского волоса лежал, весь белый – белый с желтоватыми отливами, как воск или как древний мрамор, – мальчик лет четырнадцати, поразительно похожий на девушку, очевидно ее брат. Глаза его были закрыты, тень от черных густых волос падала пятном на словно окаменелый лоб, на недвижные тонкие брови; из-под посиневших губ виднелись стиснутые зубы. Казалось, он не дышал; одна рука опустилась на пол, другую он закинул за голову. Мальчик был одет и застегнут; тесный галстук сжимал его шею.

Девушка с воплем бросилась к нему.

– Он умер, он умер! – вскричала она, – сейчас он тут сидел говорил со мною – и вдруг упал и сделался недвижим... Боже мой! неужели нельзя помочь? И мамы нет! Панталеоне, Панталеоне, что же доктор? – прибавила она вдруг по-итальянски. – Ты ходил за доктором?

– Синьора, я не ходил, я послал Луизу, – раздался хриплый голос за дверью, – и в комнату, ковыляя на кривых ножках, вошел маленький старичок в лиловом фраке с черными пуговицами, высоком белом галстуке, нанковых коротких панталонах и синих шерстяных чулках. Его крошечное личико совершенно исчезало под целой громадой седых, железного цвета волос. Со всех сторон круто вздымаясь вверх и падая обратно растрепанными косицами, они придавали фигуре старичка сходство с хохлатой курицей – сходство тем более поразительное, что под их темно-серой массой только и можно было разобрать, что заостренный нос да круглые желтые глаза.

– Луиза скорей сбегает, а я не могу бегать, – продолжал старичок по-итальянски, поочередно поднимая плоские, подагрические ноги, обутые в высокие башмаки с бантиками, – а я вот воды принес.

Своими сухими, корявыми пальцами он стискивал длинное горлышко бутылки.

– Но Эмиль пока умрет! – воскликнула девушка и протянула руки к Санину. – О мой господин, о mein Herr! Неужели вы не можете помочь?

– Надо ему кровь пустить – это удар, – заметил старичок, носивший имя Панталеоне.

Хотя Санин не имел ни малейшего понятия о медицине, однако одно он знал достоверно: с четырнадцатилетними мальчиками ударов не случается.

– Это обморок, а не удар, – проговорил он, обратясь к Панталеоне. – Есть у вас щетки? Старичок приподнял свое личико.

– Что?

– Щетки, щетки, – повторил Санин по-немецки и по-французски. – Щетки, – прибавил он, показывая вид, что чистит себе платье.

Старичок, наконец, его понял.

– А, щетки! Spazzette! Как не быть щеток!

– Давайте их сюда; мы снимем с него сюртук – и станем растирать его.

– Хорошо... Benone! А воду на голову не надо вылить?

– Нет... после; ступайте теперь поскорей за щетками.

Панталеоне поставил бутылку на пол, выбежал вон и тотчас вернулся с двумя щетками, одной головной и одной платяной. Курчавый пудель сопровождал его и, усиленно вертя хвостом, с любопытством оглядывал старика, девушку и даже Санина – как бы желая знать, что значила вся эта тревога?

Санин проворно снял сюртук с лежавшего мальчика, расстегнул ворот, засучил рукава его рубашки – и, вооружившись щеткой, начал изо всех сил тереть ему грудь и руки. Панталеоне так же усердно тер другой – головной щеткой – по его сапогам и панталонам. Девушка бросилась на колени возле дивана и, схватив обеими руками голову, не мигая ни одной векою, так и впилась в лицо своему брату.

Санин сам тер – а сам искоса посматривал на нее. Боже мой! какая же это была красавица!



III

Нос у ней был несколько велик, но красивого, орлиного ладу, верхнюю губу чуть-чуть оттенял пушок; зато цвет лица, ровный и матовый, ни дать ни взять слоновою костью или молочный янтарь, волнистый лоск волос, как у Аллориевой Юдифи в Палаццо-Питти, – и особенно глаза, темно-серые, с черной каемкой вокруг зениц, великолепные, торжествующие глаза, – даже теперь, когда испуг и горе омрачали их блеск... Санину невольно вспомнился чудесный край, откуда он возвращался... Да он и в Италии не встречал ничего подобного! Девушка дышала редко и неровно; казалось, она всякий раз ждала, не начнет ли брат ее дышать?

Санин продолжал растирать его; но он глядел не на одну девушку. Оригинальная фигура Панталеоне также привлекла его внимание. Старик совсем ослабел и запыхался; при каждом ударе щеткой подпрыгивал и визгливо кряхтел, а огромные космы волос, смоченные потом, грузно раскачивались из стороны в сторону, словно корни крупного растения, подмытые водою.

– Снимите, по крайней мере, с него сапоги, – хотел было сказать ему Санин...

Пудель, вероятно возбужденный необычайностью всего происходившего, вдруг припал на передние лапы и принялся лаять.

– Tartaglia – canaglia! – зашипел на него старик...

Но в это мгновение лицо девушки преобразилось. Ее брови приподнялись, глаза стали еще больше и засияли радостью...

Санин оглянулся... По лицу молодого человека выступила краска; веки шевельнулись... ноздри дрогнули. Он потянул воздух сквозь все еще стиснутые зубы, вздохнул...

– Эмиль! – крикнула девушка. – Эмилио mio!

Медленно раскрылись большие черные глаза. Они глядели еще тупо, но уже улыбались – слабо; та же слабая улыбка спустилась на бледные губы. Потом он двинул повислой рукою – и с размаху положил ее себе на грудь.

– Эмилио! – повторила девушка и приподнялась. Выражение ее лица было так сильно и ярко, что казалось, вот сейчас либо слезы у нее брызнут, либо вырвется хохот.

– Эмиль! Что такое? Эмиль! – послышалось за дверью – и в комнату проворными шагами вошла опрятно одетая дама с серебристо-седыми волосами и смуглым лицом. Мужчина пожилых лет выступал за нею следом; голова служанки мелькнула у него за плечами.

Девушка побежала к ним навстречу.

– Он спасен, мама, он жив! – воскликнула она, судорожно обнимая вошедшую даму.

– Да что такое? – повторила та. – Я возвращаюсь... и вдруг встречаю господина доктора и Луизу...

Девушка принялась рассказывать, что случилось, а доктор подошел к больному, который все более и более приходил в себя и все продолжал улыбаться: он словно начинал стыдиться наделанной им тревоги.

– Вы, я вижу, его растирали щетками, – обратился доктор к Санину и Панталеоне, – и прекрасно сделали... Очень хорошая мысль... а вот мы теперь посмотрим, какие еще средства... – Он пощупал у молодого человека пульс. – Гм! Покажите-ка язык!

Дама заботливо наклонилась к нему. Он еще откровеннее улыбнулся, взвел на нее глаза – и покраснел...

Санину пришло на мысль, что он становится лишним; он вышел в кондитерскую. Но не успел он еще взяться за ручку уличной двери, как девушка опять появилась перед ним и остановила его.

– Вы уходите, – начала она, ласково заглядывая ему в лицо, – я вас не удерживаю, но вы должны непременно прийти к нам сегодня вечером, мы вам так обязаны – вы, может быть, спасли брата: мы хотим благодарить вас – мама хочет. Вы должны сказать нам, кто вы, вы должны порадоваться вместе с нами...

– Но я уезжаю сегодня в Берлин, – заикнулся было Санин.

– Вы еще успеете, – с живостью возразила девушка. – Придите к нам через час на чашку шоколада. Вы обещаетесь? А мне нужно опять к нему! Вы придете?

Что оставалось делать Санину?

– Приду, – ответил он.

Красавица быстро пожала ему руку, выпорхнула вон – и он очутился на улице.



IV

Когда Санин часа полтора спустя вернулся в кондитерскую Розелли, его там приняли, как родного. Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как субъект темперамента нервного и с склонностью к болезням сердца. Он и прежде подвергался обморокам; но никогда припадок не был так продолжителен и силен. Впрочем, доктор объявил, что всякая опасность миновалась. Эмиль одет был, как приличествует выздоравливающему, в просторный шлафрок; мать намотала ему голубую шерстяную косынку вокруг шеи; но вид он имел веселый, почти праздничный; да и все кругом имело праздничный вид. Перед диваном, на круглом столе, покрытом чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окруженный чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, – огромный фарфоровый кофейник. Шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои мягкие объятия – и Санина посадили именно в это кресло. Все обитатели кондитерской, с которыми ему пришлось познакомиться в тот день, находились налицо, не исключая пуделя Тарталья и кота; все казались несказанно счастливыми; пудель даже чихал от удовольствия; один кот по-прежнему все жеманился и жмурился. Санина заставили объяснить, кто он родом, и откуда, и как его зовут; когда он сказал, что он русский, обе дамы немного удивились и даже ахнули – и тут же, в один голос, объявили, что он отлично выговаривает по-немецки; но что если ему удобнее выражаться по-французски, то он может употреблять и этот язык, – так как они обе хорошо его понимают и выражаются на нем. Санин немедленно воспользовался этим предложением. «Санин! Санин!» Дамы никак не ожидали, что русская фамилия может быть так легко произносима. Имя его: «Димитрий» – также весьма понравилось. Старшая дама заметила, что она в молодости слышала прекрасную оперу: «Demetrio e Polibio», но что «Dimitri» гораздо лучше, чем «Demetrio». – Таким манером Санин беседовал около часу. С своей стороны дамы посвятили его во все подробности собственной жизни. Говорила больше мать, дама с седыми волосами. Санин узнал от нее, что имя ее – Леонора Розелли; что она осталась вдовою после мужа своего, Джиованни Баттиста Розелли, который двадцать пять лет тому назад поселился во Франкфурте в качестве кондитера; что Джиованни Баттиста был родом из Виченцы, и очень хороший, хотя немного вспыльчивый и заносчивый человек, и к тому республиканец! При этих словах г-жа Розелли указала на его портрет, писанный масляными красками и висевший над диваном. Должно полагать, что живописец – «тоже республиканец!», как со вздохом заметила г-жа Розелли – не вполне умел уловлять сходство, ибо на портрете покойный Джиованни Баттиста являлся каким-то сумрачным и суровым бригаantom – вроде Ринальдо Ринальдини! Сама г-жа Розелли была уроженка «старинного и прекрасного города Пармы, где находится такой чудный купол, расписанный бессмертным Корреджио!» Но от давнего пребывания в Германии она почти совсем онемечилась. Потом она прибавила, грустно покачав головою, что у ней только и осталось, что вот эта дочь да вот этот сын (она указала на них поочередно пальцем); что дочь зовут Джеммой, а сына – Эмилием; что оба они очень хорошие и послушные дети – особенно Эмилио... («Я не послушна?» – ввернула тут дочь; «Ох, ты тоже республиканка!» – ответила мать); что дела, конечно, идут теперь хуже, чем при муже, который по кондитерской части был великий мастер... («Un grand'homme!» – с суровым видом подхватил Панталеоне); но что все-таки, слава богу, жить еще можно!

V

Джемма слушала мать – и то посмеивалась, то вздыхала, то гладила ее по плечу, то грозила ей пальцем, то посматривала на Санина; наконец она встала, обняла и поцеловала мать в шею – в «душку», отчего та много смеялась и даже пищала. Панталеоне был также представлен Санину. Оказалось, что он был когда-то оперным певцом, для баритонных партий, но уже давно прекратил свои театральные занятия и состоял в семействе Розелли чем-то средним между другом дома и слугою. Несмотря на весьма длительное пребывание в Германии, он немецкому языку выучился плохо и только умел браниться на нем, немилосердно коверкая даже и бранные слова. «Феррофлукто спиччебубио!» – обзывал он чуть не каждого немца. Итальянский же язык выговаривал в совершенстве, ибо был родом из Синигалы, где слышится «*lingua toscana in bocca romana*». Эмилио видимо нежилась и предавался приятным ощущениям человека, который только что избежал опасности или выздоравливает; да и кроме того по всему можно было заметить, что домашние его баловали. Он застенчиво поблагодарил Санина, а впрочем, больше налегал на сироп и на конфеты. Санин принужден был выпить две большие чашки превосходного шоколада и съесть замечательное количество бисквитов: он только что проглотит один, а Джемма уже подносит ему другой – и отказаться нет возможности! Он скоро почувствовал себя как дома: время летело с невероятной быстротой. Ему пришлось много рассказывать – о России вообще, о русском климате, о русском обществе, о русском мужике и особенно о казаках; о войне двенадцатого года, о Петре Великом, о Кремле, и о русских песнях, и о колоколах. Обе дамы имели весьма слабое понятие о нашей пространной и отдаленной родине; г-жа Розелли, или, как ее чаще звали, фрау Леноре, даже повергла Санина в изумление вопросом: существует ли еще знаменитый, построенный в прошлом столетии, ледяной дом в Петербурге, о котором она недавно прочла такую любопытную статью в одной из книг ее покойного мужа: «*Bellezze delle arti*»? – А в ответ на восклицание Санина: «Неужели же вы полагаете, что в России никогда не бывает лета?!» – фрау Леноре возразила, что она до сих пор так себе представляла Россию: вечный снег, все ходят в шубах и все военные – но гостеприимство чрезвычайное и все крестьяне очень послушны! Санин постарался сообщить ей и ее дочери сведения более точные. Когда речь коснулась русской музыки, его тотчас попросили спеть какую-нибудь русскую арию и указали на стоявшее в комнате крошечное фортепиано, с черными клавишами вместо белых и белыми вместо черных. Он повиновался без дальних околичностей и, аккомпанируя себе двумя пальцами правой и тремя (большим, средним и мизинцем) левой, – спел тоненьким носовым тенорком сперва «Сарафан», потом «По улице мостовой». Дамы похвалили его голос и музыку, но более восхищались мягкостью и звучностью русского языка и потребовали перевода текста. Санин исполнил их желание, но так как слова «Сарафана» и особенно «По улице мостовой» (*sur une rue pavez une jeune fille allait a l'eau* – он так передал смысл оригинала) – не могли внушить его слушательницам высокое понятие о русской поэзии, то он сперва продекламировал, потом перевел, потом спел пушкинское: «Я помню чудное мгновенье», положенное на музыку Глинкой, минорные куплеты которого он слегка переврал. Тут дамы пришли в восторг – фрау Леноре даже открыла в русском языке удивительное сходство с итальянским. «Мгновенье» – «О, *viene!*», «со мной» – «*siam noi*» и т. п. Даже имена: Пушкин (она выговаривала: Пуссекин) и Глинка звучали ей чем-то родным. Санин в свою очередь попросил дам что-нибудь спеть: они также не стали чиниться. Фрау Леноре села за фортепиано и вместе с Джеммой спела несколько дуэтино и «сторнелло». У матери был когда-то хороший контральт; голос дочери был несколько слаб, но приятен.

VI

Но не голосом Джеммы – ею самую любовался Санин. Он сидел несколько позади и сбоку и думал про себя, что никакая пальма – даже в стихах Бенедиктова, тогдашнего модного поэта, – не в состоянии соперничать с изящной стройностью ее стана. Когда же она, на чувствительных нотках, возводила кверху глаза – ему казалось, что нет такого неба, которое не разверзлось бы перед таким взором. Даже старик Панталеоне, который, прислонясь плечом к притолке двери и уткнув подбородок и рот в просторный галстух, слушал важно, с видом знатока, – даже тот любовался лицом прекрасной девушки и дивился ему – а, кажется, должен был он к нему привыкнуть! Окончив свои дуэттино с дочерью, фрау Леноре заметила, что у Эмилио голос отличный, настоящее серебро, но что он теперь вступил в тот возраст, когда голос меняется (он действительно говорил каким-то беспрестанно ломавшимся басом), и что по этой причине ему запрещено петь; а что вот Панталеоне мог бы, в честь гостя, тряхнуть стариной! Панталеоне тотчас принял недовольный вид, нахмурился, взъерошил волосы и объявил, что он уже давно все это бросил, хотя действительно мог в молодости постоять за себя, – да и вообще принадлежал к той великой эпохе, когда существовали настоящие, классические певцы – не чета теперешним пискунам! – и настоящая школа пения; что ему, Панталеоне Чиппатоло из Варезе, поднесли однажды в Модене лавровый венок и даже по этому случаю выпустили в театре несколько белых голубей; что, между прочим, один русский князь Тарбусский – «il principe Tarbusski», – с которым он был в самых дружеских отношениях, постоянно за ужином звал его в Россию, обещал ему горы золота, горы!.. но что он не хотел расстаться с Италией, с страной Данта – il paese del Dante!

– Потом, конечно, произошли... несчастные обстоятельства, он сам был неосторожен... Тут старик перервал самого себя, вздохнул глубоко раза два, потупился – и снова заговорил о классической эпохе пения, о знаменитом теноре Гарсиа, к которому питал благоговейное, безграничное уважение.

«Вот был человек! – воскликнул он. – Никогда великий Гарсиа – «il gran Garsia» – не унижался до того, чтобы петь, как теперешние теноришки-tenoracci – фальцетом: все грудью, грудью, voce di petto, sì» Старик крепко постучал маленьким засохшим кулачком по собственному жабо! «И какой актер! Вулкан, signori miei, вулкан, un Vesuvio! Я имел честь и счастье петь вместе с ним в опере dell'illustrissimo maestro Россини – в «Отелло»! Гарсиа был Отелло – я был Яго – и когда он произносил эту фразу...

Тут Пантелеоне стал в позытуру и запел дрожащим и сиплым, но все еще патетическим голосом:

L'i...ra da ver...so da ver...so il fato
Io piu no... no... non temero

– Театр трепетал, signori miei но и я не отставал; и я тоже за ним:

L'i...ra da ver...so ola ver...so il fato
Temer piu non dovro!

И вдруг он – как молния, как тигр:

Morro!.. ma vendicato...



Или вот еще, когда он пел... когда он пел эту знаменитую арию из «*Matrimonio segreto*»: *Prì a che spinti...* Тут он, *il gran Garsia*, после слов: *I cavalli di galoppo* – делал на словах: *Senza rosa caccera* – послушайте, как это изумительно, *cam'e stupendo!* Тут он делал – Старик начал было какую-то необыкновенную фиоритуру – и на десятой ноте запнулся, закашлялся и, махнув рукою, отвернулся и пробормотал: «Зачем вы меня мучите?» Джемма тотчас же вскочила со стула и, громко хлопая в ладоши, с криком: «Браво!.. браво!» – подбежала к бедному отставному Яго и обеими руками ласково потрепала его по плечам. Один Эмиль безжалостно смеялся. *Cet age est sans pitié* – этот возраст не знает жалости, – сказал уже Лафонтен.

Санин попытался утешить престарелого певца и заговорил с ним на итальянском языке (он слегка его нахватался во время своего последнего путешествия) – заговорил о «paese del Dante, dove il si suona». Эта фраза вместе с «Lasciate ogni speranza» составляла весь поэтический итальянский багаж молодого туриста; но Панталеоне не поддался на его заискивания. Глубже чем когда-либо уткнув подбородок в галстук и угрюмо луча глаза, он снова уподобился птице, да еще сердитой, – ворону, что ли, или коршуну. Тогда Эмиль, мгновенно и легко краснея, как это обыкновенно случается с балованными детьми, – обратился к сестре и сказал ей, что если она желает занять гостя, то ничего она не может придумать лучшего, как прочесть ему одну из комедиек Мальца, которые она так хорошо читает. Джемма засмеялась, ударила брата по руке, воскликнула, что он «всегда такое придумает!» Однако тотчас пошла в свою комнату и, вернувшись оттуда с небольшой книжкой в руке, уселась за столом перед лампой, оглянулась, подняла палец – «молчать, дескать!» – чисто итальянский жест – и принялась читать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.